

Фрагмент из романа

**Thomas Melle**  
***Sickster.***

Rowohlt Verlag, Berlin 2011  
ISBN-978-3-87134-719-1  
с. 5-30

**Томас Мелле**  
***Сикстер.***

Перевод Марины Кореновой

**Томас Мелле**

**СИКСТЕР**

*No, no, no, no*

*I didn` t think so*  
Nine Inch Nails

## **Пролог в темноте**

*Всегда найдется кто-нибудь один, кто начинает смеяться первым, – на каком-нибудь корейском фильме, например, хотя он ни слова не понимает по-корейски (я говорю «он», потому что это действительно всегда какой-нибудь «он»; «она», как правило, смеется совсем в другом месте). Всегда находится, стало быть, кто-нибудь один, кто начинает смеяться первым, хотя для смеха нет ни малейшего повода. Такое часто бывает в кино, в полной темноте: это люди, которые делают вид, что все понимают, но за всю жизнь так ничего и не поняли.*

*Вы сидите в кино. Вокруг вас темнота, она течет и струится. Вот-вот начнется фильм. Вот-вот начнется зрелище. Вы радуетесь. Вы сжимаете в руке билет. Запах попкорна. Мягкие глубокие сиденья. Рядом с вами люди. Реклама. И вот началось.*

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**  
**ВЫПУСКНИКИ**

*stay in school*  
*cuz it`s the best*  
Peaches

Все началось по стартовому выстрелу, в прямом смысле: сначала был оглушительный треск, за ним, почти без перехода, разрыв.

Шло лето 1994 года, кортеж выпускников школы имени святого Каниса двигался по тихим улицам Бонна, невозмутимо-равнодушно погружавшегося в сумерки. Возбужденные и одновременно будто пришибленные, уставшие от празднования, растянувшегося на несколько дней, уставшие от экзаменов и внезапно наступившего облегчения, смысл которого пока не поддавался настоящему объяснению, эти молодые люди теперь хотели только веселиться. Они размахивали пивными бутылками, победно выкрикивали что-то хриплыми голосами, высунувшись из машин, подставив лица встречному ветру и солнцу, и выжимали из своих размалеванных наспех автомобилей максимум шума, используя все доступные средства – рев моторов, визг шин, беспрестанное гудение клаксонов, – чтобы пробить себе этим буйством звуков воздушный коридор, по которому они проносились грохочущим вихрем, оставляя по себе тишину.

В этом абитуриентском веселье было, впрочем, что-то натужное, наигранное. В нем было больше желания радоваться, чем собственно радости. Они так часто представляли себе этот праздник и так мечтали об этом дне, что теперь ему было просто не под силу выполнить все то, что от него ожидалось. Они обставили свой выход грубоватыми, беспомощными жестами и дикими воплями, чтобы почувствовать себя королями, но в этом бузотерстве, как ни странно, прочитывались стереотипы, которые сложились в их уже похороненном детстве далеких восьмидесятых. Лара ни с того ни с сего принялась имитировать ост-фризского комика Отто Ваалкеса и, напрягая связки, гудела толстым басом: «Да-даааааа!» Ева трясла своей гривой, завитой мелким бесом, и наслаждалась ветром, прямо как живая модель из рекламного ролика, демонстрирующего прелести фиксирующего спрея для волос. Якоб, в бейсболке и солнечных очках, выкрикивал малопонятные лозунги в рупор времен войны в Персидском заливе. Ахим и Аня отплясывали нечто среднее между ламбадой и брейком и, когда встречались глазами, старательно вытягивали губы, посылая друг другу поцелуи. Все гомонили, хлопали в ладоши, топали ногами.

Но все их усилия явно отдавали послевкусием. Праздник не выдерживал конкуренции с накопившимся предвкушением праздника. Это был их день, но день этот, скорее, напоминал потускневшее воспоминание о будущем, которое предстало теперь во всем блеске ничем не выдающейся банальной

обыденности. Казалось, будто этих школьников перед самым выпуском созвали на последний диктант, чтобы проверить владение навыками удовольствия. И они послушно пришли сюда. Глухое молчание города как нельзя лучше соответствовало моменту.

Оглушительный треск выстрела, снаружи и сразу за ним, внутри, разрыв. Раньше Хендрик стрелял по дроздам и воробьям у родителей в саду из газового пистолета, который он, когда учился в интернате, прятал на самой верхней полке своего шкафчика, подальше от чужих глаз. Теперь, на празднике, его наконец снова можно было пустить в ход. Но пистолет заело. Хендрик нервно теребил его, показывал нетерпеливо безучастным прохожим, вскидывал руку вверх, целился в солнце и все нажимал, нажимал на курок, но ничего не происходило. Он проклинал все на свете. Магнус сидел рядом с ним, в кабрио Лутца, и был уже изрядно пьян от выпитого шампанского. Он наблюдал за тем, как с каждой новой неудачной попыткой физиономия Хендрика становилась все более красной, а выступивший пот – все более блестящим. Хендрик чертыхался, пытаясь совладать с упрямой пушкой. Он непременно хотел быть тем, кто даст старт новой взрослой жизни для всего выпуска. Мимо них проплывали ряды домов, бассейн, Ригалев луг, старинный танцзал, парк – знакомые с детства заветные места, утратившие теперь свою таинственную притягательность. «Скоро разъедемся и ничего этого уже больше не увидим», – подумал Магнус и глотнул выдохшегося шампанского.

И тут его пронзила дикая боль, она резанула ухо, которого он до сих пор и не чувствовал. Он дернулся и вскрикнул. Боль была резкой, нет, она была острой и быстрой. И сразу после этого пошел свист, громкий, назойливый. Хендрик тоже перепугался, но тут же пустил целый залп, чтобы замять предыдущий промах, чтобы снова подчинить все своей воле, чтобы и неудачный выстрел выглядел как запланированное мероприятие. Он коротко спросил, все ли в порядке, – Магнус кивнул, продолжая держаться рукой за ухо.

– Ничего, сейчас пройдет, – сказал Магнус. – Ты только все-таки поосторожней, еще б немного – и капец.

Почтенные и наверняка американские ученые уже давно размышляют об устройстве человеческого мозга. Левую половину мозга они, если утрировать, представляют себе как наивную бухгалтершу, правую – как яркую поборницу

теории заговора. Слева действуют простейшие правила и структуры, а всякое отклонение списывается на случайность, справа – сестра-близняшка жаждет крови. Она растворяется в ассоциациях, видениях, лихорадочно работает, отыскивает тайные тропы, которые не сразу можно обнаружить, нащупывает связи между отдельными явлениями, которые случайно совместились в пространстве. Совпадение? Судьба! Иными словами: если причинно-следственные схемы оседают в бухгалтерском отделе левой половины мозга и позволяют оприходовывать мир в его наглядной простоте, то в правой половине, с ее изначальной параноидальностью, созревают гораздо более гениальные идеи – такие, как третий закон термодинамики, код «Да Винчи» или теория хаоса.

Примечательно, однако, что эти половинки мозга заведуют, как известно, противоположными половинками тела, странным образом отражая реальную жизнь. Вот почему «правые заговорщицы» всегда поворачиваются через левое плечо, если кто-то подойдет к ним сзади и заговорит. Что же происходит, если хронический тиннитус, поразивший левое ухо, годами держит под сублиминальным напряжением правую половину мозга, требующую ассоциаций? Как объяснят почтенные и американские ученые наступающие в подобном случае психопатологические нарушения? Усмотрят ли они причину такого рода нарушений в этом психосоматическом давлении? И нельзя ли тогда сравнить тот самый один-единственный слишком громкий бас, что грохнул той бурной ночью в клубе, с патологическим «правзрывом», говоря поэтическим языком? Не этим ли «правзрывом», если воспользоваться метафорой мифа о сотворении мира, объясняется происхождение того центробежного психоза, который годами накапливался внутри, поражая невидимым излучением, и который теперь распространился и достиг крайних пределов нервной системы?

Последствия этого – гравитационная нестабильность, коллапс материи, а следовательно, и коллапс сознания. Назовем это невралгией.

Позже Магнус очнулся днем. Он лежал на траве. Он не знал, который час, не понимал, спал он или нет и где он вообще. Потом всплыло смутное воспоминание: вечеринка, подружка! Вечеринка была сегодня вечером в Годесберге, в какой-то простецкой дискотеке под названием «Вевлайн», и все собирались туда пойти. Но он с подружкой поехал в Бад-Брайзиг. Вот только почему? И где она теперь? С какой стати он тут лежит один на лугу, у самой велосипедной дорожки, где-то, похоже, в Зинциге, хотя его подружка живет в Бад-Брайзиге? Всему этому имелось какое-то объяснение. Была назначена

какая-то встреча. Он только пока не мог вспомнить с кем и где. Он огляделся. Коробки сборных домов под палящим солнцем сверкали радиоактивным блеском. Строго отгороженные друг от друга дома с палисадниками, чистые участки, как будто тут все готово к сносу. На небе ни единой птицы. Вокруг ни души, только прямоугольные плоскости и квадраты. Гудение в голове почти сливается со звоном в ухе. «Пройдет этот звон, – подумал он, – как проходит после клубов, после рок-конcertов, как пройдет и гудение, как проходило всякое похмелье до сих пор». Он поднялся на ноги, смахнул траву с одежды, пошел искать какой-нибудь ларек, чтобы купить себе пива или воды.

Оглушительный треск выстрела, разрыв – разрыв, похоже, с последствиями, если совместить определенным образом факты с теоремами. Фактически Магнус страдает от шума в ушах по сей день. На вечеринках он часто говорил:

– Я слушаю свою личную музыку сфер, – и добавлял: – как древние греки. – А потом объяснял: – Древние греки считали, что солнце производит чудесную музыку и мы слышим ее с самого момента рождения, только не осознаем, потому что нам неведома тишина, потому что от начала времен все заполнено музыкой.

Девочки, потягивая «Кайпи», как они называли коктейль «Кайпиринья», смотрели на Магнуса большими глазами и все спрашивали:

– И что, сейчас тоже звенит? А теперь? А теперь?

– Да, – отвечал он на это, – и сейчас звенит, пищит, свистит, и сейчас, и теперь, и всегда.

В конце девяностых, незадолго до того, как обнаружилась так называемая шизофрения, Магнус пошел однажды к лору. И тот ему сказал, что нужно было сразу обратиться, как только все произошло, а теперь зараз не вылечить. Он объяснил, что тут нужна длительная терапия, которая, как правило, не оплачивается страховыми компаниями. Магнус грохнулся в обморок, но не из-за того, что сказал ему врач, – услышанное его как-то совсем не тронуло, – а из-за ослепительно-яркого света, которым был залит весь кабинет, до последнего угла, и от которого невозможно было укрыться.

Иезуитская школа, с которой теперь прощался Магнус, каждый год поставляла миру новое поколение клонов: заносчивые пажоны из нуворишей или родовитой аристократии, все как один в фирменных рубашках, «левисах» и «барбуrowsких» куртках (в девяностые к этому добавились бейсболки), они

оберегали крошечный центр Бад-Годесберга от все прибывающих полчищ пролетариев, в основном заграничных, и защищали этот пятачок своим присутствием, парфюмом и *перспективами*. Так метили они свою территорию, вступая в первую схватку за символическое мужское пространство власти, чтобы по окончании школы рассыпаться по всему свету, найти себе подходящий университет, потом концерн и сделать карьеру: научившись благополучно соединять капитализм своих родителей с хитростью иезуитов, они в конечном счете разнесут обретенный опыт по миру, по возможности с выгодой для себя, чтобы затем доить этот мир по своему усмотрению и к общему удовольствию всех заинтересованных сторон. Воспитанники интерната успевали за девять лет обучения сделать такую головокружительную духовную карьеру, что уже задолго до выпуска приобретали свой основной капитал – цинизм и пресыщенность: *been there, done that*, зевать в Сен-Моритце, блевать во Флориде, больше ничего не нужно. Никаких желаний, никаких устремлений, только бесперебойное обслуживание функциональных мест, которые предназначались им с колыбели и береглись сохранялись для них. «Я уже так много раз бывал в Нью-Йорке», «я уже так много раз бывал на Гавайяхх» – , усталые фразы расплзались во время карнавала по коридорам и пивным. И сколько ни старались отцы-священники, с их всемирной отзывчивостью и показной моралью добрых католиков, вбить своими подопечным хоть какие-то этические принципы, ничего у них не получилось. Все вопросы морали в лучшем случае воспринимались как теоретические упражнения для ума на уроках религии, но почти никогда не воспринимались всерьез. Такая духовная пустота (можно назвать ее пресыщенностью, гедонизмом, или *horror vacui* , - – все это состояния, не ведающие, как правило, саморефлексии) требовала неизбежно заполнения, и они заполняли ее маниакально повторяющимися приколами и разными жаргонными словечками. Этот язык весьма неромантически играл сам с собой и не испытывал никакой потребности в том, чтобы его понимали те, кто не входил в созданное им и утвержденное им же сообщество. Забраться на утренней молитве в усыпальницу под алтарем и скорчить рожу, а вечером перебрать пива в баре, – вот и все события, вызывающие самые яркие чувства. Любые творческие порывы и умственные усилия, которые и тут, вероятно, все же имели место, гасились самореферентной системой, каковая глушила любое новшество цинизмом и уверенностью в завтрашнем дне и тем самым позволяла успешно дистанцироваться от всех бывших тогда в ходу юношеских прожектов.

Магнус Тауэ, нервный мультигений, переплюнул всех. Хрупкой комплекции, миниатюрный и сверхчувствительный, он еще до переходного возраста целиком ушел в себя и держался то как аутист, то как больные синдромом Туретта, причем совершенно сознательно. А что ему оставалось делать? С высокомерным видом он шагал по городу. Город назывался Бонном. Точнее – Годесбергом.

Годесберг был в то время, скорее, сонной деревней. Крепость Годесбург торчала обломанным зубом на верхушке небольшого холма и медленно гнила. Полная противоположность ей – интернатская башня, построенная для преподавателей-священников: нечто вроде воткнутого в небо прямоугольного параллелепипеда, поставленного на ребро и поднимающегося кверху каменным фаллосом, эта башня с черными окнами, напоминавшими бойницы, сверкала на солнце ослепительной белизной. Она стояла непоколебимо на так называемом Священном холме, и все стояла и стояла. В ней жили священники и тайны. Магнуса было туда не заманить. Он относился скептически к этой башне. Вообще, надо сказать, он был из тех, кем постоянно владел скепсис. Поначалу он еще любил своих учителей, но довольно скоро, классе в седьмом, в нем начали проявляться первые признаки строптивного непослушания.

Зато он любил древние языки. Господин Триво, пухлогубый старичок за шестьдесят, регулярно совершавший паломничество по пути святого Иакова, стал его первым преподавателем латыни. Его сменил господин Фрак, почти француз, который всегда страшно ярился, а когда подключался к ним в лингафонном кабинете, начинал говорить по-французски, при этом на удивление мягким голосом. И наконец, был еще ветеран войны Дор, старый холостяк из Плиттерсдорфа. Объединенными усилиями они сумели поддержать любовь Магнуса к латыни до последнего класса. В девятом Дор даже начал давать Магнусу и еще одному любителю, мальчику с мелкими, мышинными зубами, дополнительные уроки по древнегреческому. Пошла зубрежка, слова летали в воздухе вместе с брызгами слюны, в окно заглядывало солнце, и скоро все это было отставлено. Есть вещи и поинтереснее: пиво, девчонки, гулянки.

В программу развлечений входили классные экскурсии, с ночевкой, поездки в горы – кататься на лыжах – и традиционный набор, который прилагался к этому: пьянки, многоярусные кровати и гуляш, вонявший псиной. Родители Магнуса, прожженные шестидесятники, давали всем сто очков вперед. Лили Тауэ – рыжие волосы, родом из Граца, колючие, пронзительно-

голубые глаза и вечная сигарета во рту, как на портретах Отто Дикса. А рядом полная противоположность – адвокат Иохен Тауэ, тонкие губы ниточкой, повышенное чувство ответственности, в юности – любитель травки и революционер. С 1979 года они в разводе. «Наверняка дети разводов, – думал Магнус, – травмированы особо».

И конечно, в классе восьмом-девятом началось: любовь, любовь и карнавальные вечеринки. Для одной из таких вечеринок Магнус нарисовал в спортзале пирата. Все обходили стороной этот шедевр, на котором дикими яркими красками, положенными толстым слоем, было изображено морское сражение, а в центре – лицо. Только одна не побоялась: она подошла к картине и принялась с подчеркнутым интересом разглядывать изображение. Когда Магнус присоединился к ней, она посмотрела ему в глаза и удалилась. С этой женщиной Магнусу суждено было познакомиться много-много лет спустя. Однако не будем забегать вперед.

Приближались выпускные экзамены, и Магнус решил уйти от своей разведенной мамы, которую он должен был называть Лили. Тогда состоялся такой обмен репликами:

– Я больше не могу и не хочу здесь оставаться.

– Не понимаю, Магнус, что случилось?

– Надоели все эти ваши штучки-дрючки. Все эти ваши старые хипповские примочки. И твои истерики. Я ухожу в интернат.

– Что значит – в интернат? Как это – в интернат? – И тише: – У нас нет денег.

– Я договорился с Реглером. Он добудет мне стипендию.

– Но Магнус...

– Ты и так пользуешься ими по полной программе, рада, что так ловко все устроила – могу обедать там почти на халяву. Хотя у тебя есть деньги, ты ведь получаешь от отца. А мне осточертело! Понимаешь, осточертело! Я все равно торчу там все время. Из-за театра, и вообще.

Пауза.

– О'кей. О'кей, Магнус. О'кей, о'кей.

Однажды, классе в девятом, один учитель сказал такие слова:

– Софокл, первейший из древних трагиков, превосходящий всех в первую очередь по красоте и совершенству, родился между Эсхилом и Еврипидом, от каждого из которых его отделяла приблизительно половина человеческой жизни. И хотя данные немного расходятся, все же можно сказать, что он был их современником и соприкасался с ними в сознательном возрасте. Ему довелось не раз сражаться за лавровый венок царя трагедии с Эсхилом, и суждено было пережить Еврипида, умершего в преклонных годах. – (Магнус при этом представлял себе местных турков-подростков так: «Чё? Кароче!») – Эсхила можно сравнить с древнегреческим скульптором Фидием, которому для достижения желаемого эффекта необходимы были внушительные формы, богатство украшений, горы золота и слоновой кости, тогда как Софокл более походил на Поликлета, который отливал свои фигуры из скромного металла, но создавал при этом такие образцы, которые благодаря совершенству пропорций вошли в непреходящий канон. Недаром философ Полемон назвал Софокла Гомером трагедии, а мы, в свою очередь, можем назвать Гомера, э-э-э, Софоклом эпического жанра.

Когда однажды турки решили прорваться на карнавальный праздник, славившийся в городе, малыш Реглер, наряженный пиратом, воздвигся нелепым гномом с бейсбольной битой в руках перед воротами школы и преградил им путь. Магнус посмотрел на это и со словами: «Достали эти рожи», встал перед Реглером, после чего демонстративно огляделся. Или точнее – обозрел всю сцену. Турки тут же отхлынули, отступили к подножью горы.

О, сокрушитель и ты, Анемон,  
Земля холодна и пуста,  
Венец твой трепещет, и слышится стон,  
О вере шепчут уста.

Готфрид Бенн. Бенн и латынь. *Velle, malle, polle*: хотеть, больше хотеть, не хотеть. Ну, так хотеть или не хотеть? Совсем не хотеть? Магнус пребывал в растерянности. Да еще это слово «сокрушитель». Магнус ломал голову: Анемон? Сокрушитель? Это что, вызов, призыв? К чему все это? Он погрузился в размышления. Остались одни лишь анемичные ангелы, подумал он. И никаких анемонов на амвоне!

Но подобные языковые игры не помогали ему избавиться от чувства одиночества. Родители выходили иногда на лестничную площадку, чтобы,

устроившись под дверью социальной квартиры его матери, выкурить по одной. Господин и госпожа Тауэ ударились в воспоминания о прежних временах. Рёль, Мейнхоф, Швабинг, Райнер, Вернер. Магнус тогда отправлялся в город что-нибудь выпить, выкурить сигаретку, побыть одному. Подальше от всего этого, как можно дальше.

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ**  
**ПЛАНОГРАММЫ**

*`cause we are living in a material world,  
And I am a material girl*  
Madonna

## I. Почему руки не хотят становиться грязными

Перед немецким представительством международного нефтяного концерна стояли два человека в костюмах и разглядывали стеклянный фасад уходящего ввысь здания. Это ребристое сооружение своею чужеродностью напоминало сверкающий неоновым блеском и стальной белизной космический корабль, будто только что аккуратно приземлившийся на тесной треугольной площадке между строительным забором, стоянкой и соседним панельным домом.

– Импозантно, – сказал мужчина, который стоял, запрокинув голову, с открытым ртом, обнажавшем зубы, и щурился на солнце.

– Похоже на одно здание в Будапеште, – сказала женщина и ткнула ладошкой куда-то в воздух. Она пошевелила пальцами, чтобы направить его взгляд на сверкающий ряд треугольных фронтонов. – Вон там.

Но мужчина не понял, что сказала женщина: шум машин проглотил ее тонкие слова.

Вместо того чтобы проследить за тем, куда она показывает, мужчина рассматривал тайком силуэт ее тела, которое, если смотреть на него сбоку, напоминало фигурное S, с подчеркнутыми округлостями груди и попы, мягкое и плавное, старательно выписанное девчоночьим почерком. Он улыбнулся – ничего нового. Она была из тех особ, у которых всего немножко многовато, и от этого избытка они кажутся какими-то неуклюжими, бабистыми. Ноги у нее были толстые и крепкие, мелко завитые волосы спадали гривой, закрывая собой плотную спину, розовые щеки отливали нервной краснотой, какая бывает от прилива крови у отстающих учениц, когда они волнуются. Ее формы сочетали в себе грузность пожилой матроны и угловатость девочки-подростка, а сексуальная притягательность сочленялась с вялой инертностью. Еще совсем недавно, полгода назад, не меньше, у них были откровенно напряженные отношения:

*Любовь в часы работы офисных жеребцов.*

– Господин Кюпперсбуш, вы не пришлете мне последнюю нильсеновскую статистику по продажам пиццы в бистро?

– Конечно, госпожа Кнюппельрехт, сейчас вышлю. В начале лета лучше всего шла, кажется, пицца-салями.

– Пицца-салями.

– Да, пицца-салями. С острым перцем.

– Понятно. Салями вообще вкусная вещь. Я тоже люблю.

– Я тоже. Особенно с острым перцем.

Пауза. Далее происходит столкновение:

Она: А какой сорт вам...

Он: Какой у вас замечательный фломастер, подходит по цвету к вашей...

Она: ...Блузке! Спасибо, господин Кюпперсбуш. Вам бы тоже (*внимание, ловушка!*) пошло что-нибудь такое голубое, не пробовали?

Он: Как вы угадали, госпожа Кнюппельрехт! Представляете, я как раз вчера купил себе голубой пиджак.

Она: Вот видите.

Он: Действительно. Будем дополнять друг друга. До скорого, госпожа Крюппельсрехт.

Она: Будем дополнять. До скорого, господин Кнопперсмуш.

Офис был раскален от возбуждающего жужжания вентилятора. Взгляды пылали, подогреваемые потаенным ожиданием, между колонками цифр, шуршанием бумажек, туканьем по клавишам, мельканием искр от канцелярских скрепок, и мужчине больше всего на свете хотелось, уловив удобный момент, совершенно не коллегиально познакомиться с прелестями этой дамы – проще говоря, завалить ее по-быстрому на ксерокс, вот было бы здорово. Но это напряжение так никогда ни во что и не вылилось, а жаль. Оно несколько спало со временем, растворилось в повседневной рутине, в рабочей суете, в мышинной возне с бесконечными таблицами, которые нужно было ежечасно анализировать.

Только по некоторым жестам можно было еще уловить намек на былую страсть, на то владевшее им некогда желание, которое теперь все выдохлось: по тому, как манерно он подавал ей пальто, как аккуратно, но определенно брал ее под локоток, как пристально смотрел ей в глаза, как иронично и вместе с тем абсолютно серьезно склонялся в легком поклоне или обращался весь в слух, демонстрируя особым образом свое внимание; аналогичные отдаленные отзвуки обнаруживались и с ее стороны: они сквозили в наигранной двусмысленности ее улыбки, такой многообещающей и одновременно ничего не значащей, в неожиданном блеске ее ореховых глаз под дугами поднятых бровей, за которыми пряталось отражение объединявшей их пустоты, вакуум доверительной близости.

Так и теперь. Она молча смотрела на него с улыбкой, в ожидании реакции. Теперь была его очередь выступать. И он тут же бросился рассуждать

о знаменитом архитекторе, имя которого у него сейчас вылетело из головы, произнес целую тираду о Потсдамской площади, до которой отсюда было всего несколько минут езды, и ловко ввернул походя словечко «постмодернизм», скривив при этом физиономию, что однозначно выражало его негативное отношение к этому явлению – один сплошной выпендрей, не имеющий никакого отношения к практической жизни, нечто, к чему так и просится определение «так называемый». Оба они прекрасно понимали, что разговаривают только для того, чтобы убить время. Они пришли сюда немного рано, и теперь нужно было чем-то занять себя в ближайшие две-три минуты. Кто приходит заранее, тот выглядит всегда как бедный родственник. И пока его пальцы поглаживали в воздухе воображаемое окно, с какой-то долей нежности, печали, а он все складывал слова, в которых не было никакого смысла, она все улыбалась и считала про себя секунды. Осталось сорок. Осталось тридцать. Осталось десять. *Все.*

Сначала Red Bull, потом Tunnel, потом Flying Horse. Он взял себе Guaraná, затем ХТС и Virgin Energy. Смесь отозвалась сладко-кислой отрыжкой. Все банки были тонкими и элегантными. Они не бренчали при падении так, как банки из-под колы. Их было приятно и удобно держать в руке. Торстен Кюннемунд любил энергетические напитки, их вкус, напоминающий вкус резиновых мишек, их мягкость, обволакивающую нёбо, их откровенную искусственность, наличие таурина. Он чувствовал, как колотилось сердце, пока он изучал новый проект логотипа.

Логотип был доведен до ума одним миланским агентством, которое сделало исходный образ более динамичным и объемным – теперь его можно было прочитать по-разному. Учили они и цвета слившихся в один концерн компаний: разноцветные полосы переплетались, образуя фигуру, которая походила на кеглю. Эта кегля символизировала собой силу, энергию и монополию. К тому же она отдаленно напоминала нефтяную вышку. Торстен считал, что эта картинка прекрасно подходит к нефтяному концерну. Он подтянул галстук и направился к лифту. По дороге он выудил из кармана сигарету. Возле лифта стояли две практикантки из отдела по связям с общественностью – девицы в серых костюмах. Он деловито поприветствовал их и улыбнулся обворожительной улыбкой. Они улыбнулись в ответ, и он невольно представил себе на какое-то мгновение их худенькие фигуры в неприличной позе: он так и видел, как они, обнаженные, разгоряченные, сплелись и замерли в ожидании, обливаясь потом, с открытыми ртами.

Внизу же теперь приступили к разглядыванию стеклянного лифта, прозрачной коробки, внутри которой перемещались в свободном полете тела. Пара расположилась в атриуме, в кожаных креслах, они сидели нога на ногу. Мужчина сыпал техническими понятиями, объясняя устройство подъемного механизма и его историю («египтяне, пирамиды!»). Женщина посмотрела на него и кокетливо подняла бровь. Игривая прядка мелко завитых волос упала на лоб, но женщина не спешила ее убирать. Она следила за движением его губ, из-за которых рот постоянно съезжал то в одну, то в другую сторону. Так рисуют в комиксах. Вокруг его рта обозначилась тень бородки, как будто рисовальщик, решив добавить этому типу типу немного хулиганской наглости, заштриховал ему щеки, подбородок и полоску над верхней губой. Она знала, что смотрит на него полутомно, полунейтрально, как знала и то, что он знает об этом. Былое сексуальное влечение запускалось теперь как дополнительная программа, выполнявшая функцию объединения, оно шло в ход как хорошо знакомый инструмент, к которому можно было прибегнуть в любой момент и на котором они оба превосходно играли, умело используя, по своему усмотрению, разные модуляции. Его можно было достать, когда угодно, и быстро реанимировать искусственными средствами, чтобы создать на время ощущение прочного союза, общего духа, благодаря которому как по волшебству две отдельные монады тут же превращаются в один диод с электрическим зарядом, надежно изолированный, защищенный от злобной конкуренции.

Один из лифтов бесшумно опустился вниз. Из него вышел мужчина или, точнее, идеальный портрет мужчины: блондин, с волнистыми волосами, уложенными на косой пробор и припомаженными фиксирующим гелем, с хорошей фигурой при среднем или даже совсем небольшом росте, но главное – с фантастическим взглядом, который всякого, в первую очередь всякую, иронично пронзает насквозь, в придачу к этому – искусственная улыбка, ямочки на щеках, глаза как у Бреда Питта, подбородок а-ля Принц Железное Сердце. Крутой мэн, опасный соперник, дуэлянт.

Женщина забылась на мгновение, забыла, зачем пришла и с кем. Он подошел, пристально посмотрел на нее, потом на него, потом опять на нее. Они пожали друг другу руки, как это делают представители городской власти, официально, сдержанно-напряженно, хотя в глазах у них запрыгали странные огоньки.

– Кюнемунд, – представился идеальный мужчина с идеальной улыбкой. – Торстен Кюнемунд, приятно познакомиться.

«Не дожدهшься, скотина, – думала про себя женщина, не сводя глаз с ямочки у него на подбородке. – Меня так просто не возьмешь».

*Перевела с немецкого Марина Коренева*